

Адриан Македонов  
**ВОРКУТА ТЫ, ВОРКУТА...**<sup>1</sup>

21 августа 1937 года в моей смоленской квартире до одиннадцати вечера сидел Твардовский. А через полчаса меня арестовали. Я жил в Смоленске, хотя печатался больше всего в центральной печати. А Твардовский жил уже в Москве, но летом наезжал в родные места, снимал дачу или квартиру. Часто заглядывал ко мне, стучал в окно с улицы, спрашивал: «Сократ дома?» Почему называл меня Сократом – это особая тема, но отчасти она была связана с характером наших отношений в решающий, как он сам позже писал, период его формирования, то есть с начала 1928 по 1936 год.

Во время этих встреч мы обсуждали с ним и общую ситуацию. Существовала иллюзия, вера в то, что Сталин продолжает дело Ленина и что, несмотря на все безобразия в период насильственной коллективизации, которые мы объясняли главным образом перегибами местных властей, страна быстро двигается вперед по пути создания нового социалистического общества.

Твардовский в этом не сомневался. Многое он просто не мог знать, например, никто из нас не знал, что творилось уже тогда в застенках МВД. И мы даже были готовы поверить в заговор. Во всяком случае, нам казалось, что Киров убит кем-то без ведома Сталина и что в этом могли быть замешаны оппозиционеры.

Родители Твардовского были неправильно раскулачены, и он знал, что они не кулаки. Он знал и о многих других случаях неправильного раскулачивания. Даже соглашаясь с тем, что ликвидация кулачества как класса была необходимостью, он все же не раз говорил – и об этом сохранились следы в его позднейшей переписке, – что ликвидация класса не означает ликвидации людей. Вместе с тем он, как и большинство тогдашней сельской молодежи, поверил в тезис о быстром преодолении трудностей единоличной жизни. Мечты его отца стать зажиточным на своем маленьком и очень трудоемком сельском участке, создать имение с помощью своего замечательного кузнечного мастерства – эти мечты казались ему менее реальными, чем добровольная коллективизация. Он верил в органическое культурное развитие деревни, в новое действительно массовое образование, просвещение и первые опыты успешного артельного хозяйства, которые намечались во время НЭПа.

Но все эти надежды столкнулись с кампанией против него бывших рапповцев. Были завистники, были и те, кто не разделял его новаторских поисков. Одно время Твардовский оказался в почти полном одиночестве среди местных литераторов. Некий Горбатенков возненавидел его, а заодно и меня за систематическую защиту «кулацкого» поэта Твардовского. Отсюда и возникло совместное политическое дело против меня, Твардовского и еще трех смоленских литераторов, среди которых оказался и один из противников поэта.

Был уже выдан ордер на обыск и арест Твардовского, и на следующий день после моего ареста пришли за ним, но утром 22 августа Твардовский узнал о моем аресте, почувствовал, что ему угрожает, и немедленно уехал в Москву. Как мне стало известно позже, был заготовлен и прямо «уличающий» Твардовского в сочувствии кулакам факт: эпизод из «Страны Муравии», не пропущенный тогда цензурой («Их не били, не вязали...»). Этот фрагмент, который с потрясающей силой обнажил действительный ужас раскулачивания, он смог внести в текст поэмы только после смерти Сталина.

---

<sup>1</sup> Источник: «Распятые» / Автор-составитель Захар Дичаров. Изд-во: Историко-мемориальная комиссия Союза писателей Санкт-Петербурга, отделение издательства «Просвещение». Санкт-Петербург, 1998. Библиотека Александра Белоусенко: URL: <http://www.belousenko.com>, 9 мая 2003. [http://www.imwerden.info/belousenko/wr\\_Dicharov\\_Raspyaty4\\_Makedonov.htm](http://www.imwerden.info/belousenko/wr_Dicharov_Raspyaty4_Makedonov.htm)

Однако, когда дело было переслано смоленским МВД в Москву, оно не пошло дальше, так как поэма была уже одобрена Фадеевым, без санкции которого Твардовский не мог быть арестован.

Стало известно, что поэма прочитана самим Сталиным и понравилась ему. Сталин понял, что может приручить и использовать новый большой талант, что «Страна Муравия» может быть истолкована как оправдание коллективизации, хотя в поэме все время подчеркиваются возможности и другого, добровольного, объединения в колхоз.

В результате Горбатенкову пришлось переориентироваться. Найти повод и наказать защитника Твардовского Македонова, но по другим мотивам.

Новый козырь им дал арест Авербаха, генерального секретаря РАППа. Авербах был последовательным сталинистом и участвовал во многих разгромах. Но несмотря на приверженность Сталину, Авербах был заподозрен в тайной связи с контрреволюционной группой, кажется, с группой Сырцова-Ломинадзе. Его отстранили от литературной деятельности, отправили в Свердловск – фактически в полуссылку, – где он работал парторгом Уралмаша. Здесь он контактировал с первым секретарем областного комитета партии Кабаковым и погиб затем вместе с ним. Это дало возможность считать тех, кто так или иначе сотрудничал с Авербахом, когда он был редактором «Рабочего пути», причастными к контрреволюционной деятельности. Вспомнили мою «крамольную» статью по поводу самоубийства Маяковского, напечатанную в «Рабочем пути», действительно заказанную мне Авербахом. В этой статье я написал, что самоубийство Маяковского не может объясняться какими-то личными причинами или только ими и связано с его внутренним расхождением с нашей действительностью и линией партии в области литературы. Таким образом, я мог попасть в число людей, критиковавших величайшего поэта нашей революции.

В последние годы до ареста я окончил аспирантуру, написал диссертацию об эстетике Белинского, опубликовал большой цикл статей о Пушкине, Белинском, Добролюбо-ве, Радищеве. В 1937 году была назначена защита диссертации на кафедре литературоведения Московского педагогического института имени Бубнова.

Но, видимо, кто-то сообщил о начавшейся проработке Македонова в Смоленске, и в последнюю минуту, когда уже собрались и оппоненты и желавшие присутствовать молодые исследователи, защита была отложена. Я пытался обратиться к декану, но он мне сказал, что в теперешней обстановке он даже сам себе не доверяет. Так эта диссертация и была похоронена в недрах института. Потом мой научный руководитель А. Г. Цейтлин сказал мне, что диссертация долго ходила по рукам и была затем кем-то использована, в частности, кажется, Н. И. Мордовченко, без ссылки на меня.

Я был так поглощен работой и так уверен в своей правоте, что даже когда началась проработка, сначала отнесся к ней очень спокойно. Был уверен, что сумею защитить себя, и не внял совету одного знакомого моей матери, смоленского коммуниста по фамилии Аустрин, уехать из Смоленска.

На этом собрании лихо прорабатывал меня не только Горбатенков, но и некто Мандриков, который работал секретарем редакции «Рабочего пути» и вступил в партию по рекомендации Авербаха. Позднее и он был включен в состав придуманной контрреволюционной авербаховской группы, куда были зачислены первый председатель Смоленского отделения СП Завьялов, прозаик Ефрем Марьенков, также в свое время близкий Твардовскому, молодой критик В. Муравьев, единственный, кто кроме меня защищал Твардовского, когда того обвиняли в кулацких тенденциях. Муравьев учился со мной вместе в аспирантуре. Таким образом легко было наметить схему дальнейшего следствия.

Как проходила моя жизнь внутри тюрьмы в Смоленске? Меня долгое время совсем не вызывали на следствие. Однажды вызвали, и группой следователей в несколько человек стали допрашивать и пугать меня, я говорил, что им придется краснеть, когда они так или иначе вынуждены будут меня освободить. Следователей это забавляло, они с ухмылками разъясняли мне, что на это мне нечего рассчитывать. К одному из следователей по-

пала на прием моя жена, и он ей спокойно объяснил, что мне дадут срок, и немалый, и что ей лучше заботиться о себе и о ребенке. Но он ее не убедил. Фамилия следователя была Гуревич. Этот Гуревич учился в вузе и стал там осведомителем, когда я уже печатался. Он знал мои работы и, в отличие от других следователей, видимо, был достаточно грамотным. А может быть, ему искренне хотелось обойтись без зубодробительства. Он и обошелся.

В камере со мной сидели самые разные люди. Это была большая камера, время от времени битком набивавшаяся. Положения заключенных были самые разные. Например, одно время туда был посажен зампредоблисполкома Сосин, который доказывал и разъяснял всем сокамерникам, что если партии нужно инсценировать такие процессы, то нужно слушать партию. В это время был арестован уже почти весь состав местной партийной верхушки, начиная с первого секретаря обкома, большевика с 1905 года, рабочего. Почти все они были расстреляны, в том числе, конечно, и Сосин. Многие, даже большинство, пытались сопротивляться. Их зверски избивали, и после многих избиений, вынужденного стояния по двадцать четыре часа и больше, они тоже, как правило, подписывали то, что требовали следователи.

Помню одного из них, кажется, секретаря Бельского уездного комитета партии. Он рассказывал, что, когда во время гражданской войны он в Сибири попал в плен к Колчаку, его жестоко избивали, но он ни в чем не признавался. Но беда, говорил он, в том, что там были чужие, я знал, что это враги, а здесь же свои, я же их, мерзавцев, всех лично знаю, был с ними на «ты». И вот они мне вбивали: ты должен признаться, это нужно партии.

Был и другой теоретик этой тактики, бывший, кажется, работник самого МВД, по фамилии, сколько помнится, Зискинд, который говорил: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Я же и в камере продолжал доказывать, что тут какая-то ошибка, какие-то злоупотребления, про которые сам Сталин не знает, и поэтому не нужно признаваться, тогда в конце концов об этом узнает Сталин и будет восстановлена справедливость.

Недалеко от меня лежал бывший работник МВД, который три года назад, почуяв, чем пахнет будущее, сумел уйти на какую-то наробразовскую должность. Был поляк, который работал у нас на аэродроме. Его, по-видимому, обвиняли в шпионаже, избивали, но он держался очень крепко. Интересно, что он, может быть, и действительно не был обычным рабочим, потому что знал литературу, даже смоленскую, и цитировал мне смоленского поэта Николая Рыленкова. Затем, когда Сосина уже убрали, вдруг появился юноша, сын Сосина, который был посажен как бы за действительную по тем временам вину. Он пытался организовать группу «месть за отцов». Он тоже довольно быстро исчез. Однажды к нам в камеру неожиданно поместили большую группу заключенных из Харькова. Зачем их сюда перебросили, они не знали. Они рассказали, что, когда начались массовые аресты в Харькове и они увидели друг друга в камере, то решили, что произошел контрреволюционный переворот. И потом не сразу убедились, что если это считать контрреволюционным переворотом, то нити «переворота» ведут далеко наверх.

Несколько человек сидели вместе со мной почти весь период следствия, не знаю, признались они или нет. Общее господствующее настроение было определено кратким афоризмом: «Так или иначе, все будем на даче». Этой дачей оказывалась часто и могила. Но были люди, которых не ждала могила и которые, так сказать, были легкими преступниками. Они обвинялись по статье 58-10, то есть контрреволюционная агитация, за которую не давали расстрел, а если они признавались, то давали сравнительно малые сроки - от пяти до десяти лет.

Моя статья формулировалась 58-10, ч. II, то есть не только контрреволюционная агитация, но и контрреволюционная организация, но сама по себе она была менее страшной, чем КРТД. Тут были разные варианты - от разного срока заключения до расстрела, если человек в конце концов признавался. Вариации были очень многочисленными. Многие сидели по статье 58-7 - вредительство; это были главным образом различные хозяй-

ственники, например, директора предприятий, которые не выполняли план. Раз не выполняли план – значит вредители. Их большей частью расстреливали, но некоторые отделивались большими сроками. Вообще какую-то логику во всей этой системе трудно было найти. Многое зависело и от индивидуальности следователя.

Должен сказать, что Гуревич как будто был склонен обходиться без усердных мордобоев, хотя все же и этим не брезговал. Но для меня делал явное исключение. Меня Гуревич, кажется, один раз еще вызвал, просил охарактеризовать Завьялова, которого он, видимо, жалел. Я сказал, что ничего контрреволюционного в Завьялове не было и что вообще все это дело липовое.

После этого я был вызван к Гуревичу только расписаться в том, что я читал заключение о завершении следствия. Я и это отказался подписать. И опять-таки никаких, так сказать, взысканий дополнительных за это не получил. Меня отправили в пересыльную тюрьму, откуда уже дальше – на этап.

И вот наконец пересылка. Тут нам всем первый раз дали свидание перед отправкой на этап. В свидании участвовали и моя жена, и моя мать. Во время свидания мы были отделены решеткой, но разрешалось передавать еду и вещи под наблюдением конвоира. Дальнейшее все напоминало какой-то страшный сон. На пересылке я увидел и своих признававшихся однодельцев: Завьялова, Мандрика, Марьенкова, Муравьева. Они держались все вместе, были крайне озлоблены, а я их сторонился - и за их трусость, и за то, что они уже полностью разочаровались во всем том, во что раньше верили. У меня все еще жила надежда на справедливость. Жена передала мне очень много продуктов и вещей, в том числе собранных, видимо, с помощью ее старшего брата, очень хорошо ко мне относившегося, затем погибшего во время войны. Тут было все, включая даже какие-то шоколадные лепешечки, не говоря уже о сахаре.

Пересылка все больше набивалась. Большинство могло только стоять. Перед отправкой на этап всех обыскивали и осматривали. Это была и зловещая, и комическая сцена. Смотрели даже, нет ли чего в заднем проходе, боялись, не вложили ли мы туда чего-нибудь преступного, и желтая электрическая лампочка освещала задницы. В конце концов один «враг народа» - старик, не выдержавший тесноты, духоты, долгого стояния, рухнул и умер. Его тело было спокойно убрano.

Нас вывели и посадили на грузовики. Закрытых, видимо, не хватало, ехали в открытых, но при этом мы должны были низко наклоняться, чтобы не было видно с улицы, кого везут. И сопровождавшие конвоиры предупреждали - не поднимать голову, будем стрелять без предупреждения.

Моя мать тоже принесла мне какие-то продукты. Когда меня посадили, она преподавала в техникуме английский и немецкий языки. Ее очень любили учащиеся, потому что она была замечательным педагогом. Но каждую свою лекцию она начинала с того, что вот какое происходит безобразие, ее ни в чем не виновный сын посажен. И она говорила, что погибнет, но добьется моего спасения. Она пыталась хлопотать за меня в Москве, приезжала, останавливалась у тетки, с трудом попадала на прием к каким-то прокурорам или к депутатам Верховного Совета, они ничего не хотели и не могли сделать, большая часть из них вскоре тоже была посажена. А потом была арестована и моя мать, может быть, даже и не за эти разговоры. Ее сосед по квартире, который был знаком с каким-то тюремщиком, рассказал, что ее застрелил следователь, когда во время допроса она бросила в него чернильницу.

Потом через много лет я запросил о ней КГБ Смоленска и узнал только, что ее приговорила к расстрелу «тройка». За что и как - неизвестно. Сохранилась в деле только бумажка, что она была приговорена к расстрелу тогда-то и расстреляна тогда-то. Прислали мне и справку о ее реабилитации. Гуревич как-то сказал, что моя мать была расстреляна за участие в контрреволюционной эсеровской организации, называвшей себя «крестьянским союзом».

Несмотря на все ужасы следствия, люди даже во время кратких передышек после избиений хотели заполнять жизнь, как бы ни была она тяжела, какими-то духовными, независимыми ценностями.

Отсюда своеобразные культурнические занятия. Помню, что я читал лекции о Пушкине, так как был еще полон и своими занятиями, и всей пушкинской годовщиной 1937 года. Люди с вниманием слушали не только цитаты из Пушкина и слова о нем, но даже и рассказы об эстетике и деятельности Белинского, хотя это было от них совсем далеко.

Существовал какой-то текучий, но в своем поведении чем-то постоянный коллектив, в котором, к счастью, не было злобных уголовников. Стукачи, конечно, были, мы не знали, кто они, и во всех разговорах это учитывалось, тем более, что по существу подавляющее большинство было вполне лояльно к той власти, которая их посадила. Эта духовная жизнь создавала какую-то внутреннюю опору. И сами стукачи, видимо, не считали нужным приписывать какую-либо антисоветчину рассказам посаженного литературоведа о Пушкине и Белинском.

В поезде я включился в другой текучий разнородный коллектив этапников, которые менялись по ходу пути и все-таки также друг с другом контактировали.

Первая станция была Котлас - один из главных узловых путей северо-востока Европейской части нашей страны. Там было создано что-то вроде второй пересылки, в которой происходило новое перераспределение согласно статьям, запросам лагерей в тех или иных профессиях.

Здесь я пробыл не менее двух недель. Дальнейший путь предстоял по воде, и начальство ждало парохода. Меня как «троцкиста» не выводили на работы. Получилось много свободного времени. Я его потратил на обмен сахара на бумагу, на которой начал строить длинное послание товарищу Сталину. Я беседовал со многими и еще более убедился, что большинство были невиновны. Я писал Сталину, что происходит какое-то ужасное недоразумение, его вводят в заблуждение органы внутренних дел, куда проникли люди недостойные, совершившие злоупотребления.

Дальнейший мой маршрут уже плохо сохранился в памяти. Помню только, что значительный отрезок пути я ехал на барже. Баржа была полна, но не переполнена, и, в отличие от других, в ней ехали только политические, поэтому не было тех схваток с уголовниками, о которых так много рассказывают люди, пережившие этапы тех лет. Всех нас держали в трюме – выход на палубу был категорически запрещен.

Я тщательно под подушкой хранил вместе с остатками вещи свиток желтой оберточной бумаги с моим длинным письмом к Сталину, даже, кажется, его дополнял. Ибо все новые факты открывались в этих разговорах. В самих лагерях, как мы уже чувствовали, творилось нечто ужасное. Иногда громогласное радио, вероятно, включенное самими конвоирами, сообщало о массовых расстрелах в Воркуте «за бандитизм и саботаж». Это было и сознательное предупреждение, и сознательное искажение истины. Потом мы быстро узнали, что за бандитизм расстреливали главным образом политических заключенных.

Так мы прибыли к какой-то суше. Нас выгрузили на берег реки Уса, и мы должны были двигаться пешком – теперь я узнал, что к Воркуте. После разгрузки был произведен шмон, обыск, довольно тщательный, хотя не такой тщательный, как в смоленской пересылке. Были обнаружены и мои свитки с длинным письмом к Сталину, а также личное письмо. Письмо о злоупотреблениях НКВД, незаконном репрессировании людей. Причем писал я только о других, а не о себе.

И тут произошло небезынтересное событие. Я знал: никто не имеет права выбрасывать письма на имя Сталина, великого вождя. И заявил конвоиру, что не пойду дальше. Он меня немного задержал. Конвой приказал всему этапу продолжать путь. А один конвой оставался сзади и заявил мне: «Отойди в сторону». Тут из толпы этапированных мне закричали: «Не отходите! Стойте на месте!» При всей своей наивности я понял, что конвой меня пристрелит, приписав мне попытку к бегству. Интересно, что в его интонации я даже

не почувствовал злобы, был скорее оттенок презрительной жалости, с которой он меня бы ухлопал. Но я отказался отойти с дороги.

Конвоир напустил на меня овчарку, а большая часть этапа продолжала стоять. Овчарка разорвала мою шерстяную куртку, последнее из вещей, приготовленных женой. Разорвала до шеи, так, что я услышал лязганье зубов. Шея была обнажена. Но все же собаке не была дана команда перегрызть мне горло. Рядом был комендантский пункт. Оттуда вышел человек, видимо, комендант, поднял из канавы мою писанину, бегло посмотрел, ударил меня раза два палкой по спине и по плечу, но не сильно – скорее всего от удивления моей глупостью. А большая толпа этапников впереди меня зашумела. Разгорался скандал. И комендант сообразил, что это было бы ЧП.

Он принял, я бы сказал, мудрое решение. Распорядился связать меня и погрузить на подводу. Так мы пришли, а я приехал к берегу реки Воркуты, около ее устья, впадения в Усу. Там был уже поселок, получивший название Усть-Воркута.

На мне теперь ничего не было, кроме разорванной собакой вязанки и штанов, в которых я еще мог ходить. Здесь меня переодели в лагерную одежду – куртку, штаны, по тогдашней лагерной форме. И сейчас же включили в работу. Работа здесь уже кипела. Стояла готовая большая баржа, груженная бревнами и другими лесоматериалами, нужными для строительства. Командовал этой срочной разгрузкой и перегрузкой начальник, кажется, целой группы лагерей, по фамилии Мороз.

Начальник не проявлял никакой жестокости, не требовал, чтобы работа шла вовсю. Был жаркий июньский день, множество комаров. Некоторые уголовники, пришедшие другим этапом, попробовали отказаться от работы, их раздели догола, связали и положили на пригорок, под комаров. Политическим же и в голову не приходило отказываться. Наоборот, принялись за работу с некоторым жаром, во всяком случае добросовестно. Это была небывалая работа в жизни большинства из них. Разгрузка и перегрузка длились без отдыха около шестидесяти пяти часов. То есть почти трое суток. Июньские ночи были совсем белыми, и ничто не мешало работать, кроме тяжести бревен и жары днем.

Нашлись люди, более или менее осведомленные, как нужно работать, и появились малые команды. Звучали призывы: «Раз, два, взяли! Еще раз взяли! Десять лет дали! Ни хрена не дали!» Кормили же нас прямо на барже или у берега, приносили кашу, хлеб, хлебово, снабдили деревянными ложками, порции были даже несколько больше, чем прежде. Люди от усталости время от времени падали с мостков прямо в воду. Вода немного освежала, они опять поднимались и продолжали те же «раз, два, взяли». А многие уже и кричать не могли. Но работали. Когда разгрузка кончилась, нам дали поспать прямо на земле. Я тогда впервые оценил пушкинские слова: «И сон, дневных трудов награда». Здесь это была награда и ночных трудов...

И вот мы приехали на конечный пункт своего путешествия. Только теперь я узнал, как он называется. Это был поселок Рудник на правом берегу реки Воркуты, где строилась и уже начала выдавать уголь первая Воркутинская шахта. Река Воркута имела здесь крутые берега. Поселок был расположен на низкой, довольно широкой береговой террасе. А шахта строилась выше, на коренном берегу. И кругом кипела работа. И над землей, и под землей. В некотором отдалении были видны вышки, на которых располагались охранники. Кроме того, была охрана внизу. Пришедший этап принимали представители учетно-распределительной части администрации лагеря, УРЧ. Она уже имела сопроводительные дела всех присланных заключенных, отбирала нужные для лагеря профессии.

Работник УРЧ не проявлял ни враждебности, ни подозрительности, ни просто грубости. Даже благожелательно подшучивал. В моем деле было отмечено, что я прибыл из Смоленска. «Урчевич» даже пошутил: «смоленский рожок». Это был общий стиль по отношению и к тем, у кого были самые плохие статьи. Моя пометка «КРТД» как будто не имела для него значения. Тем более, что среди прибывших были люди и с более страшными пунктами, например, «вредители» и «террористы». УРЧ добру и злу внимал равнодушно. Меня только спросили (как и других), что я умею делать. Тут я сразу же мог оце-

нить коварство заключения ОСО. Моя профессия определялась как «журналист», а не писатель и ученый, каковым все-таки я был к тому времени. Обе профессии не были нужны лагерному производству.

Некоторые называли себя портными, столярами, кузнецами и так далее. Учитывая возраст и видимое состояние здоровья, у меня никакой нужной профессии не оказалось, я и не пытался выдать себя за кого-то другого и поэтому был направлен сразу же на общие работы.

Нас поселили в большой, человек на двести, палатке с двухъярусными нарами. В центре палатки была железная бочка, которая отапливалась первым добываемым углем. Впрочем, хотя я приехал еще в конце лета, бывало холодно, а уголь экономили. А когда наступили настоящие холода – в сентябре, октябре, – то даже при раскаленной бочке в изголовье наших постелей набирался снег. Постели нам выдали, никакое свое белье не разрешалось, были одеяла, тонкие матрасы, подушки, набитые какой-то трухой.

Выходя из палатки, я мог осмотреться кругом. В отдалении белела Воркута, выше все было почти голо, только редкие кустики, местами немного травы; чем-то все это даже напоминало русскую степь, но отличался «особый воздух», он казался как бы пустым, и небо было бледным. Зато ночи были летом более светлыми, а зимой еще более темными.

Работы были самые разные – главным образом, подсобные, земляные, погрузочные и т. д. Наблюдали и учитывали надсмотрщики и бригадиры. Они были сравнительно незлобные – не били, матерщинили мало. Но работы были жестко нормированы, нормы были высокие и большей частью мы, обитатели этой палатки, и в особенности я, эти нормы не выполняли. А когда и выполняли, то питание давали весьма скудное. А не выполнявших первое время не наказывали, но давали меньше еды. Рабочий день был десять часов, не считая дороги до места работы и обратно. (Возвращались усталые, нередко промокшие, сушиться было трудно.)

Я быстро понял, что эта жизнь мне не по силам. Многим другим тоже. Палатка была населена одними политическими. Люди были разных национальностей, профессий, образования. Некоторые читали наизусть латинские стихи. Характерно было стремление сохранять какие-то традиции духовной жизни. Меня очень выручила жена. Оказывается, меня уже ждала первая большая продуктовая посылка от жены. Она сумела еще в Смоленске узнать конечный пункт моего маршрута. В посылке был сахар и многое необходимое. Я расположился на нарах рядом с русским немцем по фамилии Геллер, делился с ним, и он присматривал, чтобы у меня не украли продукты из-под подушки, когда я уходил на работу (работали мы часто в разное время). Кроме того, политические вели себя честнее, и воровство друг у друга было редким явлением. Тем более что круглосуточно дежурил дневальный по обязательному лагерному порядку. И, наконец, были люди, которых по болезни освобождали от тяжелой работы. Тут я впервые узнал про другой оазис лагерной жизни - врачебный мир с вольнонаемными, бывшими заключенными, и заключенными. Соблюдались некоторые правила. Освобождение от работы давалось людям с повышенной температурой, признаками туберкулеза или физической неполноценности. Стыдно признаться, но я завидовал одному туберкулезнику, все время температуривавшему, сидевшему с книгами и читавшему.

Староста палатки Алиев жил, как я узнал позже, некоторое время на кирпичном заводе, куда согнали объявивших голодовку политических заключенных. Сам он имел, по-видимому, какую-то бытовую статью. Вероятно, среди голодающих выполнял и осведомительские функции. Выполнял ли он их теперь, в нашей палатке, не знаю. Во всяком случае, сам он никаких разговоров на политические темы со мной не заводил. А осведомителей наверняка и других хватало.

Большая часть книг, циркулировавших в палатке, по слухам, происходила из тех личных библиотек, которые имели расстрелянные затем политзаключенные.

Как происходили эти расстрелы? Те, кто уцелели и вернулись, не рассказывали. Но в это же время или несколько позже я познакомился с Сергеем Андреевичем Князевым. Он

был арестован и этапирован в Воркуту раньше меня. В прошлом - начинающий историк, где-то на Украине. Срок имел как будто меньший и к этому времени уже устроился, вероятно, через врачей, на относительно легкую работу. Он рассказал мне, что ехал на этап с большой группой политзаключенных. Это были люди разных взглядов, но все единодушно ненавидели Сталина и почти все они были уверены, что обречены, что сталинщина будет усиливаться, становиться все более свирепой. Тем не менее почти все они были единодушны в попытке бороться за права политзаключенных. Конечно, только мирными средствами, так как понимали, что другие в это время уже были невозможны, тем более в Воркуте. Их средством была голодовка, с единственным требованием - приравнять режим политзаключенных к обычному режиму, соблюдавшемуся в царских тюрьмах и на каторге. Некоторые из них даже надеялись, что такая форма протеста может быть эффективной.

Князев подчеркивал, какое большое впечатление произвели на него высокие нравственные качества этих людей, преданных коммунистов-антисталинцев, считавших, что Сталин изменил коммунизму и встал на контрреволюционный путь. В Воркуте мне рассказали, что лагерное начальство сначала не знало, что делать с голодающими. Удовлетворить их требования не решались, но и репрессировать – тоже. Были даже попытки насильственного кормления. Но затем поступило решение свыше, вероятно, от самого Сталина, их просто уничтожить. Делалось это просто, хотя также не без хитрости. Объявили, что их переводят в другое место, с вещами, и выводили по группам. Каждая группа доходила до некоего перекрестка, где их расстреливали заготовленными пулеметами с двух сторон. Звуки выстрелов доносились, и оставшиеся уже понимали, что их ждет. Говорят, некоторые перед расстрелом пели «Интернационал». Сергей Андреевич Князев в дальнейшем написал воспоминания обо всем своем пути, в том числе и об этом этапе, и о беседах со мной на разные темы, начиная с проблем «Науки логики» Гегеля. Так он сохранял не только жизнь, но и духовное начало ее.

Расстрелы были осуществлены под руководством Кашкетина, специально присланного самим Сталиным. Для расстрелов были использованы некоторые дети раскулаченных, которым сказали, что эти коммунисты раскулачивали их отцов. Когда после завершения операции самого Кашкетина отозвали в Москву, он кому-то сказал, что едет на смерть. Обычная судьба сталинских палачей.

В пределах той же палатки были два человека, державшиеся от всех в стороне. Один из них – Сафаров, в прошлом видный оппозиционер, был редактором «Ленинградской правды», когда ленинградский партаппарат был охвачен зиновьевской оппозицией. Теперь он кому-то сказал, что пишет книгу «Сталин как диалектик», не только восхвалявшую его полную правоту в борьбе с оппозицией, но и возвеличивавшую его исключительные философские дарования. Вскоре он был вызван на этап и отправлен в Москву, надеялся на прощение. Но, как после я узнал, был быстро расстрелян\*.

\* Однако Сафаров не был расстрелян. См. об этом: Воспоминания Зах. Дичарова, стр. 155.

Наиболее нужные и квалифицированные заключенные быстро выделились в особую категорию так называемых ИТР (инженерно-технических работников), о которых расскажу дальше подробнее. Среди них были и непосредственно нужные лагерю специалисты: горные инженеры, например, которых быстро отселили отдельно, их дальнейший путь резко отличался от пути таких, как я. Но, кроме того, были и люди и других нужных специальностей. Например, много экономистов, бухгалтеров, некоторые стали даже снабженцами. Среди них были и любители книг, с которыми я общался. Позже в эту категорию перешли некоторые работники буровых скважин.

Вообще в лагере на более или менее хозяйственные и распорядительские должности все же, при прочих равных условиях, обычно выдвигали бывших коммунистов, в особенности уцелевших от расстрелов ответственных работников (кроме самых ответственных), за исключением лишь каких-либо бывших оппозиционеров. Некоторые из них дела-



ли и карьере – как лагерные финансисты, экономисты, снабженцы. Помню одного из них по фамилии Фельдман, так как он также имел и определенные культурные интересы, любил читать, а свою основную работу выполнял с искренним увлечением.

Была еще совсем особая группа знатных заключенных. Я лично их не знал, но про них мне рассказывали. Одно время в лагере около строившейся большой шахты «Капитальная» сидел Гронский, бывший редактор «Известий» (после Бухарина), затем «Нового мира». Теперь он работал банщиком, что также считалось «блатной», легкой работой. Его дальнейшую судьбу я не знаю, но недавно встретил в литературе о тех временах его фамилию. Как будто он вернулся и умер на свободе.

Другим таким же знатным заключенным был Алексей Каплер, одно время муж или возлюбленный Светланы Аллилуевой. Он работал фотографом сначала в Инте, затем в поселке около шахты «Капитальная».

Основная масса заключенных и в этой палатке, и в разных бараках состояла из так называемых работяг, выполнявших разнообразные общие работы, как и я в течение довольно долгого времени. Подавляющее большинство, девяносто процентов, были обречены на износ, особенно те, кто наиболее старательно трудился и некоторое время за это поощрялся. Оставшиеся становились квалифицированными шахтерами, строителями, некоторые как-то выбивались наверх, другие превращались в «придурков», реже поднимались до ИТР. Были и крестьяне, не имевшие никакой лагерной квалификации.

Писали жалобы главным образом те, кто имел статью 58-10 – контрреволюционную агитацию, считавшуюся относительно легкой виной. Давали ее часто по совершенно нелепым поводам. Как кто-то из этих крестьян выразился: «Колхозную кобылу б... назвал». Это была горькая и точная шутка, так как суть «агитации» состояла в том, что он раскритиковал колхозное начальство в своем колхозе. Был, однако, вариант и более редкий – идейные крестьяне-толстовцы. В дальнейшем я встретил и толстовцев-интеллигентов. Толстовство считалось крамолой. В лагере они умели и работать, и помогать друг другу, были среди них и практичные, хитрые, разными способами продвигавшиеся в бригады и на другие относительно хлебные и легкие должности.

Все эти контакты ставили передо мной не только задачу выжить, но и какие-то возможности духовного общения, искать возможность не потерять лицо, как бы ни было плохо. Конечно, не путем какой-либо борьбы. Такая мысль не возникала даже у тех, кто уже пошел дальше меня в прозрении, даже у наиболее активных, бывших военных (это тоже была особая маленькая группа). Были, по слухам, попытки побега, но все неудачные. Меня пока что выручали, кроме чувства локтя, письма жены, и еще продолжавшиеся до начала войны посылки.

Доносились какие-то вести о том, что происходит в стране. Газет мы не получали, но иногда они проникали в форме оберток продуктов в посылке. Книги обычно не позволяли пересылать. Но из указанного фонда расстрелянных доходили самые разные издания: художественные, исторические и т. п. Это все не запрещалось и не отбиралось при обысках. Кроме любых книг Маркса и Ленина. Они категорически запрещались, даже «Капитал» Маркса, столь далекий от современных дел. Еще один сталинистский парадокс!

В первые годы лагеря я не встретил единомышленников. Но продолжал расширять круг людей с близкими мне потребностями в чтении, в рассуждениях по существу прочитанного. У меня накопился и свой обменный книжный фонд. Так продолжал обновляться внутрилагерный коллектив читателей-книголюбов. Острые политические вопросы все же не обсуждались, по крайней мере, я не слышал ни одного антисоветского высказывания. Все яснее я понимал то, что понял уже в Котласе, что кругом были невинно осужденные люди, среди них были и высокообразованные и одаренные.

Но продолжалась и повседневная лагерная жизнь. Шло строительство и шахты, и лагеря. Большую палатку заменили бараком. Барак был немного теплее и пока не был перегружен.

Не помню всех деталей последующих событий. Но помню, что вскоре возникла у меня новая конфликтная ситуация с лагерным начальством. Меня вызвали в УРЧ и предложили работать на шахте. Я уже понял, что шахтерская нагрузка, тем более при отсутствии навыков, меня наверняка загубит. К счастью, все же полагалось пройти медицинское освидетельствование, ибо требовалась полноценная рабочая сила, хотя бы на время.

Врач более или менее внимательно меня осмотрел и установил, что я близорук, а близоруким работать под землей нельзя. Начальник по режиму со странной фамилией Кухарь вызвал меня к себе и стал обвинять в симуляции. «Вы ведь меня видите?» - спросил он. Я рассердился и ответил: «Вас я вижу насквозь». Кухарь расвирепел и решил дать урок «троцкисту». Я потребовал, чтобы вызвали врача, это Кухаря еще больше разозлило. Он решил состряпать против меня «лагерное дело», и это могло кончиться для меня плохо. Одновременно Кухарь собрал кучку уголовников, которых я, по его замыслу, должен был толкать к саботажу. Многие из этих уголовников также не хотели работать в шахте. Он посадил меня с уголовниками в карцер, набитый так, что мы стояли, прижатые друг к другу, и повернуться не могли. Тут я еще раз убедился, что уголовники ненавидели или презирали политзаключенных. Карцер не отапливался, ноги мерзли, но все-таки мы согревали друг друга вынужденной близостью тел, дыханием. Так я простоял вместе с уголовниками тридцать пять часов (количество часов узнал уже позже). И все-таки выстоял. Часть уголовников после этого согласилась на все, меня от них отделили и переместили в другое внутрилагерное карательное учреждение, называвшееся изолятором.

В это время там было еще немного заключенных. Два этажа нар, постельные принадлежности, питание – несколько сот граммов хлеба (насколько помню, двести или триста) и кипяток – таковы условия изолятора. Здесь все, кроме меня, были уголовниками, но они меня почему-то не обижали. Возможно потому, что кто-то из них попросил, как тогда выражались в этом мирке, «рассказывать романы». Я, как мог, им рассказывал. Возможно, даже что-то из Пушкина. Все обслуживание осуществлялось теми же заключенными. Но здесь я столкнулся с еще одной их группой, которая меня поразила. Это были сектанты, так называемые «крестики». Они считали, что всякая государственная власть, и тем более советская, – дьявольская, и потому отказывались работать, отвечать на вопросы и подписывать листы допросов. Вместо подписи ставили крестики, не потому, что были неграмотны, а потому, что считали себя вне дьявольского общения. Они понимали, что их ожидало, их всех расстреливали по статье 58-11 (саботаж). С удивительным спокойствием эти люди шли на смерть, надеясь на награду на небесах. Вероятно, молились, но как-то очень тихо. Даже самые злобные уголовники относились к ним с уважением и почтением. Но «крестики» ни с кем не разговаривали, хотя заботились о чистоте и порядке в изоляторе, охотно помогали тем, кто просил о помощи.

Не помню, сколько времени я провел в этом изоляторе, но, по всей вероятности, недолго, потому что не успел заболеть. Видимо, лагерный врач подтвердил свой диагноз, а более высокое, чем Кухарь, начальство решило избежать лишнего скандала, поняло, что незачем использовать для работы в шахте заведомо непригодного заключенного. Меня выпустили из изолятора, но придумали, как спустить меня в шахту, несмотря на близорукость: поставили крутить вручную вентилятор там, где лава спускалась в штрек. В лаве работали забойщики, время от времени взрывали уголь, и он скатывался вниз по специальному желобу в подставленную вагонетку, которую дальше по штреку откатывали заключенные до шахтного ствола, перегружали в клеть, клеть поднималась наверх и там вновь разгружалась. Мне надо было разгонять вентилятором выхлопные газы. Это была скверная смесь, и я немало надыхался всякой дряни. Были и другие опасные моменты. После спуска в шахту я пробирался к вентилятору пешком по узкому штреку, где местами рельсы почти вплотную подходили к стенкам, и нужно было следить, чтобы вагонетки в узком месте тебя не придавили.

Помню характерный эпизод: я жил в громадном бараке для шахтеров. Во всем этом бараке жили одни лишь «враги народа». А во главе был бригадир-уголовник, по кличке

Сенька Попов. Он говорил про себя, что «под лодкой возрос». Скорее всего он был из детей раскулаченных. Он был крепок, энергичен, с зычным голосом. Явно ненавидел политических. Жил в том же бараке, но в небольшой отдельной комнате.

Рано утром Сенька входил в барак, в котором размещалось около двухсот человек, подбоченивался и зычно провозглашал: «Ну, что «прокурррорры». Как сегодня будете ррработать? Смотрррите, я вас научу ррработать». Не помню, чтобы он сам опускался в шахту. Его подручные следили за порядком под землей.

В поведении Попова явно чувствовался мотив социальной мести. Он действительно полагал, будто политические в основном те люди, которые участвовали в раскулачивании. Но я тем не менее не помню, чтобы он кого-то бил или поощрял избиения. Говорили, что он любитель стихов, прежде всего Есенина, почитаемого всеми заключенными уголовниками. Кормили в этом бараке относительно хорошо. Но вид я имел «полудоходяги».

Я продолжал жить, знакомиться с людьми. Были интересные встречи. Например, с бывшими военными. Они уверенно предсказывали нападение Германии на СССР. Военные были встревожены гибелью Тухачевского и цвета армии, говорили, что современную военную машину, способную бороться с немецкой армией, мог возглавить только Тухачевский. Эти разговоры проясняли мои мозги.

Однажды рядом со мной в бараке лежал человек, который сказал мне, что он из Ленинграда. Разговорились. Мой сосед, его фамилия была Кузнецов, сообщил потрясшую меня тогда историю, которой я не ожидал от Сталина, даже после финской войны.

Арестовали его в 1936 году. Перед арестом он работал директором небольшой фабрики. Но со времен гражданской войны был чекистом. Сначала рядовым, возил как шофер важных лиц. Однажды возил самого Сталина и был поражен его грубостью и высокомерием. Позднее Кузнецов познакомился с Медведем, чекистом, который впоследствии стал начальником управления МВД Ленинграда. Кузнецов смог уйти из органов, но продолжал встречаться с Медведем. Однажды в начале 1934 года Медведь поделился с Кузнецовым страшной новостью: «Тут готовится что-то ужасное против Кирова. Но что бы ни случилось, знай, что я здесь ни при чем, фактически я отстранен от власти. Приехал из Москвы человек, который все это готовит!» Это был некто Запорожец, присланный Ягодой по заданию Сталина, чтобы организовать убийство Кирова.

Прозрение продолжалось. Я часто встречался с Семеном Набедриком, старым коммунистом, который работал с Кировым. Он ничего не говорил о причинах гибели Кирова. И вообще избегал прямых высказываний на политические темы. Я не расспрашивал, как его посадили, но знал, что Набедрик никогда не принимал участия в оппозиции, тем не менее он чувствовал себя скованно. Я понимал, что его связывает тайна, имеющая отношение к Кирову. Однажды в беседе Набедрик глухим намеком дал понять, что он знает нечто, сопоставимое с рассказом Кузнецова.

А я нашел себе другое, более устойчивое применение. Устроился лагерным ассенизатором. Ассенизаторов была маленькая группа - четыре-пять человек. Мы жили в отдельной землянке, учитывая «благоухание» нашей работы. В землянке было отделение для испачканной одежды. Зимой она пахла меньше. Мы объезжали на лошадях уборные, убирали кучи кала и вывозили за зону. Кроме меня, все ассенизаторы были крестьяне. Их привлекало в этой работе относительно хорошее питание. Старшим из ассенизаторов был некий Василий Васильевич, человек умный и не без юмора, ко мне он относился снисходительно. Возможно, потому, что у меня были остатки посылок, и я ими делился. Впервые у меня появилось много свободного времени, так как работали мы в среднем четыре-пять часов. Были сыты, имели чистое белье, получили новое обмундирование. В землянке поддерживалась чистота.

Один из ассенизаторов по фамилии Шаманин вскоре освободился. Я написал письмо жене, чтобы тот его отправил, когда будет на воле. Он обещал и честно исполнил. Это было первое письмо от меня, не прошедшее лагерную цензуру.

Не помню, как кончилась моя ассенизаторская деятельность. Через некоторое время мне удалось ее повторить в шахте, куда меня все же загнали снова. Там меня взял в помощники шахтный ассенизатор Сергей Малахов. В прошлом он был литературоведом, критиком и поэтом, красным профессором. Как поэт был одним из типичных так называемых пролетарских поэтов того времени. За примитивность и вульгаризаторство был высмеян в одном из стихотворений Маяковского. Как литературовед и критик был представителем вульгарного социологизма, разоблачительства и прочее. Но был по-своему искренним и идейным. Характерна его биография: он был из купеческой семьи. Порвал с ней. В 1920 году вступил в партию, потом в Красную Армию. В лагере находился на особом положении, так как сотрудничал, несмотря на 58-ю статью, с КВЧ (культурно-воспитательной частью). Говорят, дал показания на другого заключенного, подтвердил, что слышал его антисоветские разговоры. Наверное, показания были без преувеличений, и Малахов дачу подобных показаний просто считал долгом коммуниста даже в лагере. Но Малахов не был постоянным осведомителем. Политических разговоров он не вел, но делился со мной стихами, которые продолжал писать и в лагере. Репрессия пробудила в нём жилку настоящей поэзии. Он написал трагедию в стихах «Филоктет», о греческом герое, несправедливо заподозренном греками в измене. Писал лирические стихи. Помню хорошее стихотворение о том, как по-особому сильно любит свою мать незаслуженно нелюбимый ею сын. В стихах этих была его собственная судьба, его подлинное лирическое чувство. Как товарищ по работе Малахов был безупречен, но я все же от него отдалился. Вращался он ближе к лагерной власти.

В дальнейшем судьба свела меня с ним через много лет в Ленинграде. После окончания срока ему разрешили преподавать в высшей школе, сначала в провинциальном вузе. Затем он вернулся в Ленинград, где ему удалось устроиться на работу в Пушкинский Дом, но у него не очень получалось. Все же писал, опубликовал несколько работ, пытался отойти от прежнего вульгарного социологизма. Он был женат по любви на молодой красивой женщине, своей бывшей ученице. Ее фотокарточку он показывал мне еще в лагере. Она ему не помогала, но не отрекалась от него. После освобождения эта женщина осталась его женой, у них были дети. Он продолжал писать стихи. Изредка мы с ним в Ленинграде встречались. Однако стихи на лагерные темы в то время публиковать еще было нельзя.

Судьба Сергея Малахова была одной из многих судеб людей - небездарных, трудолюбивых, поверивших, хотя с упрощениями, новой большой идее, склонных к добру, а не злу, а вместе с тем и задушивших в себе искры дарования и добра...

Шло время. Приближался срок моего освобождения. Официально он должен был кончиться 21 августа 1945 года. Но сталинский режим придумал еще одно осложнение. Систематическую задержку части заключенных до, как было официально объявлено, «особого распоряжения».

Но тут все же вмешался и Твардовский и пересидел я всего шесть месяцев.